

ДОЙНА ГАЛИЧ-БАРР КОЛОКОЛА И ВЕТЕР



«Проза нашего времени»

Дойна Галич-Барр
Колокола и ветер
Серия «Проза нашего
времени (Этерна)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40237125
Колокола и ветер: [Роман] / Галич-Барр, Дойна. Пер. с серб. А.
Базилевского: Вахазар; Этерна; Москва; 2009
ISBN 978-5-480-00199-0

Аннотация

Роман-мозаика о тайнах времени, любви и красоты, о мучительной тоске по недостижимому и утешении в вере. Поэтическое сновидение и молитвенная исповедь героини-художницы перед неведомым собеседником.

Содержание

1	6
2	19
3	26
4	39
5	42
6	47
7	53
8	62
9	66
10	77
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Дойна Галич-Барр

Колокола и ветер

*...Со дна праокеана – слышу, – канув, гудят
колокола.*

Момчило Настасиевич. Мысль

Проза нашего времени

Дојна Галић Бар
ЗВОНА И ВЕТАР

Колекција српске књижевности



Коллекция сербской литературы

© П. Р. Драгич-Киюк, текст, 2006

© А. Базилевский, перевод, 2009

© Издательство» Вахазар«, серия, 2004

© Издательство «Этерна», серия, 2009

© Издательство «Этерна», оформление, 2009

1

Иисусовы слезы

Утром, на заре, я слушала музыку, доносившуюся из вашего дома. Аккорды словно вдруг приходили с дождем и ветром и быстро обрывались. Почему вы тоскуете? Вы тоже скрываете свои чувства. Ведь ваше лицо, интонация вашей речи, кажется, полны священным покоем, которого не затронуло страдание жизни. Или вы, как большинство людей, любите слушать чужие исповеди, сами не раскрывая душу? Иногда мне кажется, что вы здесь, рядом со мной, лишь для того, чтоб убедиться в моей слабости. Может быть, именно в этом причина, что вы упорно, как дух, молчите.

Звуки композиции Сибелиуса, – записала я в дневнике, – особенно духовых инструментов, разлетались по лесистым холмам. Листья трепетали, пшеница на полях в долине, словно под музыку, плясала на ветру, а он сливался с финским ветром, который Сибелиус заколдовал в своей симфонии. Ветер вздымался к облакам полноводной рекой – она вышла из берегов, чтобы стать свободной и продолжить свое таинственное течение к вечности. Сибелиус приводит меня в состояние, близкое к трансу, я восхищена, я словно меж сном и явью, на грани самозабвения. В такие минуты чувствуешь, что Бог духовно и ментально помогал компо-

зигуру творить, что Всемогуий раскрывает свою божественную сущь в музыке. Я тоже, когда пишу иконы, а особенно когда работаю над фресками и мозаиками, ощущаю в себе его силу и мощь. Только такие работы имеют художественную ценность. Апостол Иоанн свидетельствует о словах Христа: «Отец во мне, и я в нем».

Христос учит нас и такими словами:

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам».

Я понимаю, почему вы любите классическую музыку. Ваши композиции – диалог с Богом, с бессмертием. Для меня несомненно, что жизнь после смерти есть, не зря веками вместе с мертвыми хоронили вещи, нужные в повседневной жизни. Серьезные композиторы, такие как вы, бессмертны благодаря музыке. Они оставляют миру часть себя и весть о Всевышнем: и божество, и искусство всегда устремлены в будущее.

Могу себе представить, как жилось бы вам, не будь надежды, что в музыке вы обретете бессмертие. Разрушился бы весь ваш мир. И вера. Я люблю ваши композиции за веру в энергию жизни и знаю, когда вы довольны, что удалось воплотить задуманное. Тогда вы обычно напеваете арии из опер, а то и какую-нибудь народную песню, а я не могу ее узнать, не знаю, откуда она.

Спрашиваю себя: почему вы так любите Сибелиуса? А просто он затрагивает любую судьбу, даже мою, и судьбу ро-

дины. Почти у каждого народа, пережившего насилие, есть легенды, которыми он защищается от ужаса коллективной памяти. Так и с историей Финляндии: Сибелиус превратил ее в музыку, противопоставив насилию величие природы. Сколько бы мы ни слушали эти хмурые, печальные композиции, они всегда несут ощущение духовности, контрасты эмоций, с постоянным прославлением легендарного мира и благодатного северного пейзажа.

Вы любите и часто слушаете сочинения финского композитора. Мы уже прослушали вместе несколько его симфоний, думаю – пять, осталось еще две. Жаль, что он уничтожил восьмую. В первой сильно влияние романтизма Чайковского, а вторую, ту, что звучит сегодня, я чувствую, он писал сердцем и душой, без всяких посторонних влияний. Воздействует ли Сибелиус на вашу работу?

В ваших композициях тоже воплощено печальное, грустное восприятие мира, но они насыщены теплом, в них есть послание надежды и счастья. Я слышу в них колокольный звон и звук ветра.

Какой ветер вы избрали? Ведь у каждого ветра своя тональность, свой почерк и память.

Я слышу ветры этих холмов, долин и ущелий. Слушаю, как трепещут ласкаемые солнцем листья. Мне раскрывается вера в пении, в колокольчиках ягнят и народной музыке – исконном звуке этих холмов. И в ваших, порой меланхолических, сонатах, где слышна свирель.

Меня спрашивали: что побуждает вас сочинять музыку именно здесь, близ этого монастыря в уединении? А меня, что меня влечет из Америки в здешние церкви, побуждая украшать их стены фресками и иконами? Я не сержусь – ведь в любопытстве скрыта наивная любознательность, а не всезнающая гордыня.

Возможно, жажда и потребность делать то, что я делаю, эгоистичны. Работа над фресками и иконами доставляет мне удовольствие, приносит счастье, которого я долго не понимала. Ничто не могло дать душе такого утешения. Я путешествовала в прошлое через образы Сотворения мира, истории христианства – не той, о которой читала в Священном Писании, которой изумлялась на уроках закона Божия или восхищалась в произведениях старых мастеров, посещая церкви и музеи. Это путешествие рождало личные представления о прошлом. Словно и я – участница тех событий, словно и я жила в те времена и где-то в клетках мозга все они генетически сохранены, ибо и до моего рождения пребывали в клеточках далеких предков, свидетелей того, что я теперь пишу. Так рождается новый, мистический религиозный опыт – когда пишу, я переживаю его в молитвах. Эти новые образы воплощены и в других работах – не в монастырских, а в тех, что я выставлю или храню у себя дома.

Таков мой земной дар и благодарение Иисусу Христу и святым, которых я еще больше полюбила, работая над ико-

нами, – работа метафизически приближала меня к ним.

Почти вся арка при входе в мой американский дом – в мозаике. Темы композиций – исцеления и чудеса, которые Иисус совершил до своего воскресения. Он показан как земной человек, как те, кому он помогает, даже и женщины, морально и душевно падшие. Работая, я видела его слезы и слышала плач – не от физической боли, страданий и мук, но оттого, что он свидетельствует, сколько трагедий и мук в человеческой жизни, и понимает, как нам, грешным, нужна помощь, явленная в чудесах и вере во Всевышнего. Его лицо было спокойно, не выражало тоски; но в проницательных, темных, влажных глазах поблескивали слезы. Эти глаза лучше, чем наши, человеческие, видели прошлое рода людского, его настоящее и будущее, которое не сулило избавления от ненависти, злобы, зависти, убийств, болезней и голода. Иисус из Назарета шел по Святой земле, исцелял и творил чудеса.

Это дитя было избрано Богом, чтобы родиться, хотя, мне кажется, вы так не думаете. Но уверяю вас, на меня его изображения и рассказы о Нем произвели еще в детстве сильное впечатление – и зрительное, и эмоциональное. Может, поэтому лицо одного ребенка на панно похоже на мое. Это заметили и зрители, и мои родители, хотя, работая над мозаикой, я не создавала, что и своим запечатленным лицом свидетельствую о Его чудесах. Говорят, есть икона, на которой Христос плачет. Мне бы очень хотелось ее увидеть. Я услы-

шала о ней уже после завершения мозаики. Хотелось бы мне ее увидеть, хотя бы на фотографии.

Я спрашивала себя, о чем он думал, когда был ребенком, и размышляла: какое детство было у него, богоизбранного? Эти сцены не покидали меня, их я охотнее всего рисовала. Видения Христа в буйной детской фантазии были многообразны. Я размышляла, как его неземная сила и чудеса действовали на старшего брата и на друзей, на простодушные игры, в которых он наверняка был непревзойденным. Для сверстников он был фокусником, который, хоть он и отрок, творит чудеса. Возможно, они даже боялись его силы? Я была единственным ребенком и не знаю, что такое отношения с братом или сестрой. В школе я слышала, как другие дети жалуются на сестер и братьев. И не могла понять их ревности и злости. Мне так хотелось, чтобы у мамы был еще один ребенок, мы бы вместе играли. Говоря с честными сестрами-монахинями о ревности в семье, я спросила, был ли ревнив старший брат Иисуса и его друзья?

– Да! – ответила честная сестра, удивленная вопросом. – Брат очень злился и ревновал, – продолжала она, – ведь отец сказал ему, что Иисус – избранник Бога, что ангелы и пастухи с дарами посетили Христа в день рождения и эта тайна еще не сообщена Христу. Иосиф и Мария не сказали ему, почему покинули Вифлеем и ушли в Египет. Скрыли, что в поисках младенца Иисуса царь Ирод приказал за одну ночь, до зари, убить всех детей. А они благополучно жили в Алек-

сандрии до самого возвращения в Святую землю.

Когда Иисусу исполнилось тринадцать лет и он, согласно обычаю, стал считаться мужчиной, брат, терзаясь угрызениями совести, открыл ему тайну его избранности и просил простить его. Христос не отреагировал, из рассказа брата он не понял смысла явления ангела, но был потрясен тем, что из-за него погибли дети. Он спросил об ангеле мать и Иосифа, и мать со слезами рассказала ему, что Якова и ее посетил ангел и возвестил, что он – Сын Божий.

На моих рисунках тех лет Христос – веселый ребенок, он шутит, смеется с друзьями и совершает чудеса, которые сам считает магическими трюками. Так было, и когда я стала пользоваться красками: я изображала его веселым мальчиком, купающимся в реке Иордан, где позднее он был крещен. В окружении большой семьи Иисус пел псалмы благодарения Богу. Он был так близок мне в мечте, как будто мы всегда были вместе. Я сказала об этом честной сестре, и она ласково улыбнувшись, поцеловала меня в голову.

Вернувшись в Иерусалим, он увидел последствия погрома, руины и пепел домов и еще не восстановленных храмов. Честные сестры воспринимали мои видения, запечатленные в рисунках, как Божий дар и поощряли меня к тому, чтоб я продолжала рисовать Христа – мальчика и младенца. Если б я жила в Его время, думала я, мы были бы добрыми друзьями.

И вот однажды ночью мне было явлено чудесное виде-

ние: я легко поднималась к вершине холма, словно не касаясь земли. Но когда была уже почти у цели и обернулась на пройденный путь, я очень удивилась. Позади все сияло светом, и множество детей купались в этом свете, и моя одежда светилась, и башмаки. А впереди было все знакомо: и полевые цветы, и стволы тополей. Куда ни повернись – все наполнял мягкий, благоуханный, приветливый свет. Но вот я добралась до вершины, и все исчезло, кроме нереального света, который, подобно туману, поднимался в небо. И тут я проснулась. Наутро я хотела это написать красками, но ничего не вышло. Я не могла вспомнить, не могла перенести на холст тот необычайный свет. На полотне остались только холм, тропинка и множество цветов. А над холмом я написала домик на облаке. Я злилась на себя и не хотела показывать картину честной сестре.

Я могла бы писать рассказы о фантастических видениях своего раннего детства. Богатые верой, они были поддержаны и обрели форму во французском пансионе в Париже. Там, на стенах всех классов, в спальне и в столовой, в часовне, – везде был он, распятый на кресте. Он повседневно присутствовал в наших молитвах и разговорах. Было два образа: один – переживание Христа через мечту ребенка, в которой он беззаботен или иногда испуган, как я в детстве, другой – видение взрослого Христа, который сознательно помогал людям, творил чудеса как Сын Божий и был распят, дабы спасти нас, грешных. В позднейших моих работах отража-

лось то же самое.

Я думала и о его матери, о том, как она его воспитывала и растила, была ли строга к нему? Честные сестры учили, что Иисус был хорошим ребенком. Испытывала ли мать некое особое святопочитание к сыну, зная, что он избранник Божий? – продолжала спрашивать я. Как могла она жить в постоянном страхе, зная, что власти хотят убить его? Как могла, обняв его, спокойно отпускать играть и ждать дня, когда получит от ангела знак, что пора сказать ему, кто ОН, и что она его потеряет? Наверно, она была очень отважна, если Творец увидел в ней достоинства, которых мы еще не знаем вполне. Мы ведь только предполагаем, почему именно ее он избрал Богородицею. Воспитать ребенка, тем более Христа, был ее великий долг перед Богом, а сколь удивительно и скорбно было чувство, что сын отдаст жизнь ради спасения всех людей. Избранный Всемогущим, ей он не принадлежит, думала она в печали.

Мое благоговение перед Богородицей – святейшей из женщин, избранной Богом, – выражалось в том, что в те годы я писала ее с огромным золотым нимбом, который был для меня символом особой ценности – святости, установленной Богом. Я покрывала ее тело драпировками нежной окраски, а руки выписывала особенно тщательно, ибо ими она обнимала свое дитя, Спасителя нашего. Когда я писала иконы с ее ликом, я ощущала любовь, уважение, теплоту, нежность, но и печаль.

Я постигала ее образ – образ матери с ребенком на руках. Может, потому и в Коране она прославлена, о ней идет речь в нескольких главах. Мусульмане верят в ее существование и зовут ее Марьям. Они не отрицают Христа, но не признают, что он – Сын Божий, который воскрес. Для них он – вестник Бога, его апостол на земле, посланный, дабы вершить чудеса и помогать впавшим в грех подняться.

Часть моей любви и благодарности за муки Иисуса – на стенах монастырей, которые я расписываю, в иконах и мозаиках, которые, если они не будут уничтожены врагами православия, останутся свидетелями крепкой веры того, кто их создал. Это не нарциссизм, не влюбленность в себя и свои работы, я пишу не для того, чтобы добиться славы и почитания. Знаю, что скоро после смерти буду забыта, как все до меня. Но если эта работа полезна и достойна того, чтобы не пропасть, она будет жить и после смерти моей, независимо от того, кто ее автор, ибо об этом не будет записи. Запись запечатлена в моем сердце, а когда оно перестанет биться, душа может впитать ее, если будет на то воля Божья.

Здесь, в тишине, я слушаю молитвы и наблюдаю жизнь монахинь, которые продолжают старинные богослужения и ведут аскетическую жизнь, верную завету изначального христианства. Этот завет не модернизирован в обряде, не запятнан временем и событиями в мире, где столько ненависти и зла. Я становлюсь лучше, во мне растет творческая сила, поскольку я повседневно ощущаю, что только Бог вечен и ис-

тинен. Он – не абстрактное понятие. Он близок, он – единственная реальность доброты; в нашем существовании он воплощает все самое лучшее, чистое, вечную любовь и единую истину. Всемогущий творец всей красоты и всех ветвей искусства – он в звуке музыкальных инструментов, в ритме композиций и жизни, в красках природы и картин; он ваяет, пишет, шепчет слова ободрения и поддержки. Он прощает и понимает. Он – неутомимый учитель – всегда готов выслушать и помочь. Благодаря этому пониманию, вероятно, и в моем рассказе меньше боли. Человек крепче верит, если он пережил отчаяние, ибо только тогда знает, что такое счастье.

Монастырь воздействует ирреально, мистически. В любое из четырех времен года он сообщает нам, что здесь живет вечность, а все остальное преходяще и ничтожно. Он мягко напоминает нам о бренности жизни.

Творец, Бог желает, чтобы избранные, те, кого выбрал он, на века остались в человеческой памяти. Только его мощь придает делам людским печать совершенства, долговечности и красоты. Такой мерой он измерил человека, так – одинаково – одарил художников и монахов.

Он – в инструментах изобретателей и проектах строителей. Во всяком звуке, записанной ноте и ритме, во всякой линии, начертанной живописцем. Только через него музыкант вдохновлен – как расположить ноты, применить их, создать лад и гармонию, которые возвысят душу богатством переживаний. Ученым он дал жажду совершенства, худож-

никам — жажду космической гармонии.

Он — в каждом слове хорошо написанной книги, стихотворения, рассказа, ибо его мудрость позволяет писателю смотреть дальше и глубже, чем видит обычный человек, обогащает его мечтой и идеями, которые, возможно, когда-то были реальностью или станут реальностью в будущем. Беседы с мастерами, теми, кто делает скрипки, арфы, органы, флейты и другие инструменты, убедили меня в том, что в их благородной работе есть духовная связь с Вездесущим. То же с композиторами, художниками и писателями. Все признают, что они, когда творят, находятся в некой особенной сфере, даже преступают порог иной действительности, — особенно композиторы, ибо их язык более всего созвучен языку сакральной реальности.

В произведениях живописцев и скульпторов Бог является во множестве обликов, как если бы уже был частью полотна или мраморной глыбы, ибо всё, что мы видим, чувствуем, думаем, есть плод его творения. Особенно в религиозных работах старых мастеров: какого бы их создания в музеях и церквях наша рука ни коснулась, она восхищенно гладит его. Поэтому искусство близко всем смертным — от Адама и Евы до бесконечности. В образах борьбы веры и сомнения, ангела и дьявола, любви и вожделения, в картинах боли и страдания, преступления и наказания, униженности и оскорбленности скрыто многообразие записанных слов Христовых апостолов. В опытах искусства мы ищем не только

ответа на вопрос о смысле бытия, но и обетования, о котором мечтает все человечество, искони жаждущее жизни вечной, в красоте и мире с Создателем.

А вдруг красота, окончательная, единственная, на сей раз будет найдена?

Я не лщу вам – ибо вы выше обычных людей, вы почти нереальны, – когда утверждаю и предсказываю, что музыка сделает вас бессмертным, имя ваше будут долго помнить на земле и после вашей смерти, потому что в том, что несет ваша музыка, есть нечто единственное, уникальное, неземное – в ней звучит мощь вечности.

Это вызывает у меня доверие, вот почему я говорю с вами открыто. Кто создает такую музыку, тот ближе к Богу и не может причинить мне вреда. Я знаю, это не игра моего чувственного воображения или души и не иллюзия, родившаяся в здешней тишине. Я слышу вашу музыку даже во сне и потому знаю ее силу. Сны многое открывают, если на них обращать внимание и без страха позволять им говорить с нами.

Иногда вы сутками не спите. Я слышу райские звуки, летящие через долины, ущелья – в леса. Ваш дом освещен, а когда он покрыт снегом, он похож на рождественскую елку. Зимы здесь долги и холодны, вы согреваете их звуками.

Черная жемчужина

Я повествую вам о своей жизни, а вы подбираете музыку, пока я раскрываю себя и свою судьбу. Аккомпанируете моему рассказу композициями для органа Сезара Франка, иногда Баха и Моцарта. После Баха и до композиций Мессиа-на музыка Франка для органа – величайшее явление. Франция, вторая половина XIX века... Пытаюсь понять эту музыку. Она нас, грешных, связует с церковью и славой Божьей. Словно утешает себя и нас, что все земные мучения и периодические упадки духа не стоят того, чтобы позволить душе страдать. Эта музыка сопровождает рождение моих религиозных работ. Открывает внутреннюю напряженность медитации и тревожную глубину вытесненных ощущений. Франк отдал себя и свое пламенное, святое вдохновение оратории «Искушение, или Блаженство» (где ведет нас к Нагорной проповеди). Он благословляет нас, словно посвящая в адепты симфонизма, и духовно готовит к восприятию «Трех хоралов для органа». В нем и Бах, и Бетховен, и Вагнер, но при этом у него своя, оригинальная техника ритмических переходов при передаче света и мрака, слез и улыбки, душевных страданий и восторгов; они касаются моей судьбы, становятся ее частью.

Уже несколько недель мы слушаем Сибелиуса. Что он открывает в нас? Нет ничего во мне, что смирило бы житейскую бурю в моем сердце подобно воздействию его композиций. Знаю, что вы меня понимаете.

Вы смотрите, как я работаю, наблюдаете за каждым движением, за тем, как я управляюсь с цветными камешками. Техника мозаики – это чудо! Вы наверняка не знаете: существует 650 оттенков камешков, которые используют, чтоб выразить состояние природы и человеческой души. И они тоже Божьи дети. Вы следите за движениями моих рук, когда я их выкладываю, создавая цветную картину. Чувствуете во мне веру, близость к православию, связь с монастырями, любовь и восхищение бескорыстием и скромностью монахинь. А разве это не вполне естественно? Ведь аскетизм – исходная и конечная точка искушения и у художника, и у инока.

Мы видим у них полное исчезновение физического тела. Монахини кажутся стройными кипарисами в движении или особенными, неувядающими Божьими цветами. Словно астральные ангелы с белыми спокойными лицами, избранницы Христовы ходят по этой святой земле без спешки и шума. Только молитвы, церковное пение и звон колоколов – звуки, которые сопутствуют им, где бы они ни были.

Они слушают и вашу музыку. Я часто вижу, как они, работая на винограднике или в саду, прерывают свой тяжкий труд, чтобы послушать вас.

В вашей музыке есть некая священная печаль. Какая-ни-

будь композиция звучит словно плач контрабаса или блуждание скрипки в космосе, но вы искусно вплетаете в нее звуки природы: пение птиц, жужжание пчел, трескотню кузнециков, шум дождя, ветерка, журчание потока, будто показываете нам, что музыка повсюду и что она, а это действительно так, – не только создание инструмента и человека.

Природа полна интонаций, мелодий, целых симфоний – ветер разносит и впитывает их; так же и волны в нежном или взволнованном прикосновении к скалам, и океаны в своей таинственной глубине открывают ритмы звуков и тишины.

Согласитесь ли вы, что здесь, вблизи монастыря, лучшие звуки, вызванные человеком, это те, что издают церковные колокола, а природа разносит по окрестным полям и лесистым холмам? Колокольных дел мастер искусными руками воплотил эти мелодии в бронзе или другом материале, каждый колокол имеет свои особенности, свою биографию. Должно быть, и мастер молился Богу, чтоб колокол обрел свой неземной звук.

Вашу музыку особенно внимательно слушает одна из монахинь. Я знаю о ней очень мало, она появилась тут совсем недавно. Она все еще отшельница, замкнута больше, чем другие. По слухам, владеет несколькими языками, но с гостями почти не говорит. Не знаю, откуда она. Я смотрю на ее тонкое лицо: глаза похожи на большие каштаны, брови точно выписанные руны, нос будто точеный, – привлекательное лицо, милое и спокойное, и спрашиваю себя, какая радость

или боль привела ее сюда. Пожалуй, очевидно: ее врожденная красота не гарантировала счастья. Красота – это искушение, мой дорогой молчаливый друг. Может статься, она наказывает себя за то, что поддалась рискованной земной любви – игре плоти, которая привлекательна, но опасна. Привлекательна, ибо ее мгновениями мы защищаемся от бренности; опасна, ибо страсть, как мираж, быстро исчезает, не переходя в покой. Если допустить, что тело стало единственным ключом к счастью, все остальное теряет смысл. Такой любви следует опасаться, она всегда ведет к одиночеству, ибо мы позволили плоти стать целью для самой себя.

Выдержит ли она отшельничество, окажется ли сильнее своих человеческих слабостей, желаний, искушений, не поколеблется ли в решении отринуть все земное, даже самых родных людей?

Отчего вы поморщились? Может, не надо мне было о ней упоминать? Может, в ней – тайна вашего приезда сюда, или она напомнила вам о прошлом, о вас самом, когда вы были недовольны собой?

Я смотрю, как она спускается сверху в ущелье, то и дело оглядываясь, устремляя взор в небо. Останавливается, начинает молиться. Звук ее голоса необычен – похож на молитвенное пение, негромок, но пронзителен. Сквозь дикое ущелье она словно посылает исповедь Всевышнему – одним только пением, без какого-либо инструмента, кроме голосовых связок, данных от Бога, и словно направляет молитву

кому-то еще. Ничто не мешает ей, чувствуется, как она собрана, взгляд устремлен только к Христу. Когда дождь или снег падает на ее черную рясу и платок, она молится усердней всего.

Трепет ее голоса соединяет небо и землю.

Подобно потерянной черной жемчужине, в чей дом вошел хищный нож, чтобы украсть все, что было внутри, она ищет надежду в уединении, в ином, непознанном мире, которому учится лишь теперь – впитывает веру, строит прочную, несокрушимую раковину в новом доме вечной Божьей любви. Вы спрашиваете меня, будет ли кто-то, влюбленный в ее красоту, пытаться ее найти?..

Иногда мы тянемся к любовнику из себялюбия, отдаемся его прикосновениям, потому что не можем быть одни. Но знаем, что это не любовь, а слабость. Если любовь – слабость, то не вечное ли это наше свойство, ибо, когда мы закрываем глаза или спим, совести не существует. Потому иные из нас, невзирая на пол, гонятся за сном наяву и за реальностью, которая всего лишь сон. Быть на грани, оставаясь верными своей слабости, могут лишь опытные, отважные и постоянные любовники.

Много раз я задавалась вопросом: в какой трагедии могла участвовать эта женщина? Или она была жертвой? Некрасиво, что я так думаю о ней только потому, что ее не понимаю. Ведь возможно, некая внутренняя сила, сильнее всех прочих, привела ее к Христу. Я хочу, чтобы послушница с

тонким лицом осталась для нас загадкой. Это было бы справедливо.

Окруженная скромными монахинями, которые держат в узде все свои желания, я испытываю стыд. Они долго и часто постятся, не жалуясь, по внутренней потребности. Когда не постятся, питаются скудно. Поэтому они такие стройные, здоровые, подвижные и просветленные.

Я краснею, осознав, что с трудом контролирую свою жажду еды и сладостей. Мне труден долгий пост. Но я понимаю, что с молитвой становлюсь лучше и в пост лучше пишу.

В Эфиопии я непрерывно постилась и молилась, это заметно по моим иконам и фрескам. В них было что-то смиренное, они были ближе к Богу.

Я сознательно вводила в некоторые работы лица молящихся монахинь, особенно игуменьи Иеремии, и лица эфиопских детей. У ангелов были их крупные темные глаза, кудрявые черные волосы, даже их крупные рты. Ангелы были облачены в туники, украшенные местной вышивкой. Такие туники ткали и женщины, и мужчины и красили красками, состав которых веками хранился в тайне. Я научилась у них изготавливать некоторые из этих красок: кризум, синюю и золотую. Ими я писала драпировки, тоги святых и одежду людей, которые их окружали в молитве. Монахини говорили мне, что все они ощущали близость с образами моих икон, святые и ангелы были им сродни.

В каждой работе присутствовал ангел с большими тем-

но-синими глазами и каштановыми волосами. Мать Иеремия первая поняла, почему в разных сценах я всегда пишу этого ангела, и тихо сказала мне, когда мы были одни:

– Мы молимся Ему, потому что он для вас много значит. Он хранит вас, никогда не забывайте об этом.

Только тогда я поняла, что он поистине частица всех моих работ... Нет, я не стану описывать вам в подробностях свое пребывание в Эфиопии. Предлагаю послушать тишину...

3

Синий зонт любви

В эфиопском женском монастыре, удаленном от людей и туристов, молитвы начинались в пять утра и длились часами. Не только в монастыре, но и в соседних поселениях, не меньше чем в сотне домов. Люди продолжали молиться и после захода солнца, в сумерки уходящего к Желтому Нилу. Своей красотой оно напоминает, что эта страна приняла христианство еще в ранний период соломоновой Эфиопии. Всю эту информацию вы можете найти в изданиях церковной миссии эфиопского православного христианства в Аддис-Абебе, которые я регулярно получаю, и во многих других публикациях, которые стоит почитать ради неведомых нам деталей.

Если вы посетите эти отдаленные монастыри, даже ничего не зная о прошлом, то через звон колоколов, благолепие пения, ритм молитвы, древние иконы и раннехристианские деревянные культовые предметы, через фрески и удивительные кресты, которые магнетической силой привлекут ваш взгляд, вы ощутите присутствие Христа в себе и во всем, что вас окружает.

Христианским мирозерцанием здесь возведен духовный мир, свободный от бренных земных ценностей. Сознание и Бог – духовные субстанции, а не явления физического

земного бытия. Они сохраняются при утрате материального. На древних эфиопских иконах изображение человека нерезально, абстрактно: тела не обнажены или частично скрыты, а украшены столь же абстрактными узорами тканей, красками, которые, как драпировки, скрывают плоть. Перспектива исчезает, тело не соприкасается с земной красотой природы. Оно парит в золотой среде, окруженное святыми и апостолами с очень выразительными лицами и глазами.

Местное население не задает вопросов о том, существует ли Бог и действительно ли Христос – сын Божий. Переживание священного начала взращивалось и упрочивалось в них веками, рожденное раньше, чем где-либо еще на свете, передаваемое из поколения в поколение. Нет силы, которая могла бы его истребить или поколебать.

Монастырь с большим погостом над ущельем, заросшим эвкалиптами, расположен вдали от городов, в глухой, беднейшей части Эфиопии и окружен маленькими племенными поселениями. Транспорт сюда не ходит – добраться можно только верхом на осле, на коне или пешком. Здесь нет ни верблюдов и слонов, как в районах, отведенных для сафари, ни железных дорог и самолетов, как в развитых частях Эфиопии. Монастырь не был отмечен на карте, его не рекламировали туристические агентства, ведь большинство туристов едут в центры сафари, мало кто интересуется посещением бедных и отдаленных женских монастырей.

Многочисленные монастыри современной постройки бо-

лее доступны. Древнейшие укрыты в скалах, как церковь Святого Георгия в Лалибале, где в глубине виден огромный каменный крест, закрывающий вход в церковь. Старые христианские церкви в те времена обычно были округлыми или прямоугольными, с алтарем посередине, к нему был доступ со всех сторон. В церкви Святого Георгия двенадцать колонн. На каждой фреска с изображением одного из Христовых апостолов. Эфиопские монастыри богаты фресками, иконостасами, иконами. Они строились, когда грозила опасность вторжения неприятеля, и потому спрятаны в недоступных скалах, как наши, сербские церкви и монастыри. Христианство всегда подвергалось гонениям – а православное христианство и до сих пор. Эфиопское (абиссинское) православие во многом совпадает с православием остального мира, хотя, в сущности, они монофизиты, чье учение отличается от установлений семи вселенских соборов.

Священники эфиопской церкви вступают в брак, как все православные в мире, с той разницей, что в Эфиопии в их семьях много детей – дабы древнее христианство не погибло. У некоторых до пятнадцати детей. Клирики облачаются в роскошные многоцветные хлопчатобумажные тоги – шама-сы, искусны в речи и жестах.

Монахи и монахини, как и в других христианских церквях, не женятся и не выходят замуж. Живут очень скромно, аскетически, строго соблюдая уклад своих монастырей. Монахини приветливы, помогают народу, мы встречаем их, за-

нятых работой, которая не приносит монастырю никакой материальной пользы. Они часто молятся в одиночку или группой и в церкви, и на природе. Облачения у них одноцветные, белые или чуть темноватые. В той же одежде они и в церкви, у клироса, когда совершают дневной обряд. В ранней юности, когда я с родителями посещала Эфиопию и ее знаменитые монастыри, я всегда поражалась тому, как естественно ведут себя монахини и как они усердны.

Аксум – историческая местность, изобилующая монастырями. Она привлекает туристов, так как туда проложены хорошие дороги. Отец говорил мне, что здесь можно ощутить, насколько древнее в Эфиопии христианство. Нигде в мире, в других монастырях и музеях, я не видела таких предметов культа. Отец рассказывал, как здесь в первые века христианства переписывали Священное Писание черной и красной краской, тонкими и утолщенными линиями. Хранили книги в потайных местах. Фрески и иконы выполнены в примитивном стиле. Многовековой древности кресты необычной работы словно сделаны из золотого кружева. Однажды увидев, такое не забудешь. Узнаваемой красотой они выдают свое происхождение. Эфиопия – символ христианской изначальности, которая лишь в четвертом веке начнет на соборах оформляться в учение, огражденное правилами. Возможно, в этом причина, что эфиопских христиан официально не признают ни римокатолики, ни протестанты, ни даже православные, которым они ближе всего некоторыми чертами об-

ряда. Эфиопская коптская церковь отделилась от христианского сообщества после четвертого, халкидонского, Вселенского собора в 451 году.

Я любила старинные иконы. Они не были трехмерными и походили на графику. Фигуру целиком писали редко, в ранний период святые словно не имели рук и ног, доминировал портрет. Нигде на свете я не видела ничего подобного. В них была графическая экспрессия – овалы лица, крупные глаза, обрамленные черной линией. Лики святых и лица молящихся священников подтверждали, что души их пребывают на небесах, там, где Всемогуший, которому мы молимся. В более поздних композициях руки с удлинёнными пальцами были простерты в небо, что усиливало впечатление устремленности к Богу. Богородица всегда была очень любима и почитаема, ее лик часто писали на фресках и иконах. У нее была темная кожа, как у Христа, – вот откуда в Европе несколько культовых черных Богородиц.

Ряд типов абстрактных святых образов, совершенно антиреалистичных, особенно распространился после 726 года, когда сочли, что земные формы неуместны в сакральных изображениях. Верующий человек может легко воспринять этот образ как явление духа, в радости, что молится чистой идее Всемогущего без антропоморфических черт, ибо лишь вполне отвлеченная геометрическая форма может передать духовную истину. Возможно, и из-за запрета христианства некоторые иконы имели абстрактный вид: двойные головы

ангелов, соединенные по вертикали и горизонтали, со множеством крыльев, как у бабочек; у всех крупные, темные, пронизательные глаза, устремленные в запредельность, как у херувимов.

В эпоху гонений и истребления христиан Иисуса писали в облике овечьего пастыря, агнца Божьего или рыбы, у апостолов появились свои крылатые символы (тетраморф): Матвей – крылатый человек, Марк – крылатый лев, Лука – крылатый вол, Иоанн – орел.

Древнейшее православное искусство ясно выражало истину в священных словах:

Всемогущий всё видит.

Ему всё ведомо!

Только Он объемлет всё.

Неудивительно, что посвященное Богу искусство, однажды увиденное и пережитое, не забывается никогда.

Эти три изречения не только пронизывают культовые творения православной Эфиопии, но веками отзываются в соданиях гениальных творцов – писателей, музыкантов, живописцев. В их заметках о том, что вдохновляло и вело их в творчестве, всегда шла речь о божественном восторге, который охватывал их, когда творение обещало быть нетленным. Бог нашептывает во время всего процесса созидания.

С той первой встречи с монастырями Эфиопии древнехристианское православное искусство сопровождает меня. Я долго не осознавала, что оно так повлияло на формирование

моей художественной концепции мотивов и цветов, — больше, чем работа любого из величайших мастеров иконописи, которыми восхищается мир. Только позднее, когда я изучила эту специфическую область искусства и особенно когда завершила большие работы, которые принесли мне признание и славу, я поняла, в чем исток красоты, привлекавшей критиков и посетителей моих выставок.

Отец сумел получить у монахов разрешение на фотосъемку в монастыре, что обычно запрещено. Хотя он никогда не занимался никаким искусством, у него был замечательный дар — видеть. Умение выбрать ракурс съемки, момент, когда освещение подчеркивает суть снимаемого предмета, усиливало суггестивное воздействие его снимков. Эти кадры были напоены мистической атмосферой, и много лет спустя после отъезда из Эфиопии я такого не встречала даже у известных мастеров фотографии. К сожалению, женщинам не разрешалось входить во многие монастыри, знаменитые раннехристианским искусством; мы с матерью только слушали описания фресок и икон и смотрели снимки, которые делал отец.

Меня восхищали высокие стелы из камня и дерева, которые мы видели по дороге. Некоторые высотой до двадцати двух метров. Как их строили без подъемных кранов, мне непонятно и сегодня.

До деталей запомнилась поездка в южный Аксум. Там, на

вершине горы, в двух тысячах метров над долиной – церковь Абуна Ямата. Добраться до нее могут только опытные альпинисты. Наша семья решила совершить восхождение – фрески стоили того, чтоб на них посмотреть. После нескольких часов подъема и опасного перехода через узкий, шаткий деревянный мостик, сплетенный из ветвей, мы увидели в скале вход в монастырь. Шероховатые стены расписаны фресками святых, держащих Священное Писание. Там я ощутила дух истинного христианства, единство разума и всесильного утешения, торжествующего над иллюзией ценности земной жизни. Там я училась истории божественной симфонии, ради которой стоило рисковать жизнью. Говорят, и по сей день ни один паломник не упал в ущелье.

Подобное ощущение я пережила потом в наших скромных женских монастырях. Жаль, я была тогда слишком молода – не понимала, в чем их красота и в чем различие между тем, как строили церкви прежде и строят теперь.

Отец получил разрешение – мы будем приняты. Посетители могут добраться сюда самолетом, железной дорогой и в автомобиле, так что монастырь весьма посещаем. Моя семья решила, что и мы поедем. У нас была отличная палатка, и перемены погоды, которые в это время года нередки, нас не пугали. Изумило нас нечто другое: церковный праздник сопровождался звуками двусторонних кабаро и других барабанов, плясками, пиршеством с горячительными напит-

ками и весьма популярной кока-колой, привезенной из ближайшего города, где был завод. Первый день был постный, а на другой все ели мясо, которое готовили монахи.

На этот праздник в город Кулуби в провинции Хараре собрались 28–29 декабря и эфиопские граждане, в основном из Аддис-Абебы, и иностранцы.

Крупнейший праздник привлек и мусульман: они тоже верили в архангела Гавриила и молились вместе с православными, которым принадлежал монастырь. Были здесь и многочисленные туристы со всех концов света.

Празднику всего около ста лет, он связан с победой Менелика в знаменитой битве под Адуа и освобождением этой части Эфиопии от итальянцев. Вот чем объяснялось то, что многие здесь говорили по-итальянски, – некогда это были оккупированные области.

Перед битвой полководец зашел в маленькую церковь Святого Гавриила в Кулуби и дал обет, если победит, выстроить в честь святого великолепный монастырь на территории, где преобладали мусульмане. Со временем в Кулуби вновь селятся христиане, что прежде были изгнаны, а кое-кто из мусульман переходит в православие. Все это напомнило мне о сербском святом Василии Острожском, поклониться которому приходят и верующие других конфессий. О том, что святые не делят верующих на конфессии, свидетельствует и биография святой Параскевы Пятницы, родившейся в Эпивате в XI веке. Султан Сулейман II перенес ее мощи из Бел-

града в свой дворец в Константинополе, и там она творила чудеса, потому и мусульмане часто искали ее покровительства – до тех пор, пока мощи не были возвращены в Сербию.

В течение двухдневного прославления святого Гавриила и мусульмане, и христиане молятся в одном монастыре. Христиане входят в церковь, а мусульмане, по своему желанию, молятся у церковных стен.

Крестный ход был богат и впечатляющ – во главе с патриархом Эфиопии, с большими древними золотыми крестами. Священники в живописных облачениях, с синими зонтами над головой. У некоторых белые тюрбаны. Многие священники и монахи прибыли из других монастырей и церквей. Пестрели специальные накидки – шамасы – и тоги из парчи, встречались и местные ткани ярко-красного цвета. Монахи были одеты скромнее – в белые или темные тоги. Здесь же были политики, правители не только из Эфиопии, но и из других африканских стран.

К началу литургии многолюдный праздничный крестный ход с пением псалмов и старинными золотыми крестами вошел в огромную церковь. Храм мог принять более полутора тысяч человек, для остальных, рассеянных в палатках на километры, службу транслировали по радио. В конце литургии священники с большими вывернутыми шелковыми и парчовыми зонтами, синими и цветастыми, собирали пожертвования на ремонт монастырской дороги и старой церкви.

Помнится, шел дождь, но никому это не мешало. Мокрые хлопчатобумажные шамасы – так назывались и плащи, которые носил простой народ, не только духовенство, – сохли у огня.

Скоро повсюду была грязь, но и это никому не мешало. На пол в церкви настелили солому, только на эти два дня. Множество детей было окрещено в ближней старой церкви, за женщин, которые не могли иметь детей, читались особые молитвы. Как и при всех монастырях, здесь неподалеку находилось большое кладбище, где хоронили и монахов, и мирян. При жизни разделенные – в смерти нераздельны.

Публика была пестра, как ее одежда. Дамы в красивых нарядах, бедные верующие, нищие, девочки в коротких юбках, миссионеры из разных стран мира. Звучало множество языков. Наконец из-за туч сверкнуло солнце, стало сильно припекать, и грязь быстро высохла.

Две ночи пылали костры возле исторического города, окруженного древними стенами. Повсюду жгли поленья из акации, чтоб отпугнуть многочисленных гиен, которые пытались приблизиться к людям, уснувшим в палатках. Далеко в холодной ночи разносился их зловещий вой, он снился мне еще долго, вплоть до недавнего времени.

Наутро занялся красивый жаркий день. Солнце палило нещадно. Ветви деревьев и земля перед древними стенами неодолимо напоминали зимний пейзаж. Раскаленный шар всё облекал в призрачную белизну – и здания, и людей,

и животных. Гиены уже обгладывали мясо с разбросанных костей, которые священники-повара заранее вынесли в поле, подальше от сутолоки людского муравейника. Ранним утром обглоданные кости, выбеленные тропическим солнцем, сильно действовали на воображение. Эта сцена годами не уходила у меня из памяти.

Не помню, чтоб я ощутила на том празднике дух благочестия, который с детства ношу в себе и ощущаю в монастырях. Мне не хватало тихой церковной музыки, песнопений. Зрелище напоминало карнавал, гулянье, экскурсию; мои родители встретили знакомых американцев из отеля в Аддис-Абебе. Может быть, я была слишком мала, чтобы все это понять?

Едва ли не лучшие сакральные работы мы видели в монастырях и новых, современных церквах города Гоям и близ озера Тана. Один мотив меня очаровал и впоследствии повлиял на мои работы. На высоких воротах монастыря Святая Святых было множество ангельских лиц с незабываемыми огромными глазами. У каждого свое выражение и свой взгляд.

Годы спустя, когда судьба привела меня в отдаленный женский монастырь в Эфиопии, я выполнила подобный образ в мозаике. Это было в монастыре игуменьи Иеремии, где мне помогали дети. Меня удивило, что они привнесли в ангельские лица печаль и слёзы.

– Отчего плачут ангелы? – спросила я.

Одна из девочек печально ответила:

– Оттого, что убьют младенца-Христа. И мать-Богородица печальна, она раньше всех узнала, что ее сын будет убит.

Все это я пережила и видела еще очень молодой, а описываю, чтоб вы поняли, почему мне близки та уединенная тихая обитель в Эфиопии и этот монастырь. Столько святости в скромности, в том, как здесь молятся, в колокольном звоне и пении...

Здесь не было ни карнавального прославления святых, ни громкой музыки с преобладанием барабанного боя, ни пиршеств. Не было импозантного крестного хода с драгоценными старыми золотыми крестами и огромными символическими синими зонтами из парчи, которые закрывали головы священников. Здесь небо – защитник всех, здесь все живое и неживое укрыто под синим зонтом любви. Величайшим и пресветлым.

4

Гармония

И в этой тишине, среди природы, не тронутой цивилизацией и техникой, вдали от рева моторов, трое слепых детей «сочиняли» божественные песнопения, не получив ни единого урока музыкальной грамоты, а игуменья Иеремия записывала ноты, чтобы выучиться их песням, а потом учить других.

Это были счастливые дети. Хотя и незрячие. Бог наделил их даром пения. Мелодии мощно, энергично рвались из глубины их душ. Слепые глаза неустанно плакали, видя несчастья, болезни и голод, которыми дети были окружены ежедневно.

Босоногие, с тонкими ручками, кожей, полопавшейся от солнца и инфекций, с глазами, ослепшими от проказы, с пересохшими и голодными ртами – они пели Христу.

Иногда они ходили на реку с кем-нибудь из друзей, у кого не было проблем со зрением, удили рыбу, сидя в каноэ, которые сами делали из папируса, или перевозили редких путников. Тишину прерывал равномерный тихий плеск гнаши – длинного шеста, служившего им веслом. В согласии с их пением отзывались колокольчики в виде маленьких птиц или ангелов, которые их украшали. Было совсем незаметно, что

дети незрячи.

Я любила эти мирные прогулки в каноэ, когда из воды выскакивали рыбы, а в небе было полно чудесных разноцветных птиц. Птиц пестрых, как местные домотканые ковры и одежда или самодельные украшения на шею и на руки, как серьги, которые носили и дети, или тонкой работы перстни. Все это передавалось из поколения в поколение, как коптское православие.

Катаясь с ними на утренней заре или в сумерках, я тоже напевала. Это вытесняло душевную боль. Освободившись хоть ненадолго от бремени, которое вовсе не должно было быть моим, я работала больше, чем когда-либо. Дети любили смотреть, как рождаются фрески, иконы, мозаики, и в конце концов по просьбе жителей мы открыли школу – мне хотелось оставить здесь частицу себя, передать им технику создания православного образа.

Лучше всего помню улыбки слепых детей – эти дети всегда улыбались. Все ли слепые люди выглядят такими счастливыми и спокойными? Не припомню, чтоб у меня был случай в этом убедиться.

Пение, связующее с Богом, которого они чувствовали так глубоко, было их ниточкой счастья, ничего другого они не требовали. Скромность питала их величайший и благодатный дар – не зрение, а свет в улыбке и голосе, гармонию души, которой жаждала и я.

Я думала: они счастливей, чем я, зрячая. Я хотела, чтоб

они научили меня, как достигнуть счастья. В них не было ни ропота, ни жалоб, ни зависти к тем, кто видит. Наблюдая их почти ежедневно, я ощущала стыд и потребность через молитву и духовное пение вернуть себе утраченное эмоциональное равновесие и веру в то, что я тоже чего-то стою.

В тех краях не редкость малярия, народ выжил благодаря православию – сильной вере, глубоко вошедшей в его жизнь.

Пребывание там было слишком кратким, чтобы перемены в моей жизни оказались заметны. Однако я верю: что-то во мне изменилось. Возможно, сам взгляд на то, что такое подлинные ценности, удовлетворенность и счастье. Я сильнее ощущаю присутствие Вседержителя, его творческий дух, любовь и могущество в этих отдаленных краях, среди почти дикой природы, в звонах монастырей и шелесте ветров по ущелью.

Сад, который еще не расцвел

Ради чего мы так блуждаем? Может быть, ради счастья и красоты, которой не умеем разглядеть? Разве она не здесь – всюду вокруг нас и в нас самих? В монастыре я поняла, что путь к красоте всегда рядом с нашей жизнью и мы к ней тем ближе, чем больше настроены на мир, свет и святость, а не на самих себя.

Монахини, которых я встречала в Эфиопии, это не просто подвижницы, которые непрестанно молятся и посвящают жизнь Богу; в той же мере они принадлежат своему народу. Они врачи, сестры милосердия, учителя, строительницы каное, даже матери – детям, которые потеряли родителей. Они преподавательницы закона Божия, музыки, пения, творчества, нравственности, дисциплины и доброты. Дети обретают веру через общение с ними. Монахини подают лучший пример поведения, как учит православие: помощь ближнему, честный труд, сердечность, любовь. Благодарение Богу выражается в их радости жизни, благодарности за каждый дарованный день, в радости, что эту благодарность они разделяют с другими.

Как и в других женских монастырях в мире, – не только в Эфиопии, где живо изначальное христианство, – так и здесь,

в этой обители, у каждой монахини своя история, свой путь – до того, как она решила посвятить себя только Христу и молитве. Здесь я сблизилась с игуменьей Марией. Смотрю на нее – скромную, трудолюбивую, уже старенькую, сгорбленную, сморщенную, с пораженными артритом руками. Она мудра, хоть и без особого образования, не окончила никакого факультета, зато в юности восприняла наставление и науку от женщины, известной своей мудростью, прозорливой игуменьи родом из России.

Я так и не узнала, почему – так же как я, прибывшая из Америки расписывать монастырь Мртвица, или вы, приезжающий сюда сочинять музыку, – монахини выбрали именно эту уединенную обитель. Дорога с бесчисленным количеством ступеней и узких земляных террас ведет на вершину холма, к монастырской церкви. В Сербии для монастырей выбирают недоступные места, дабы затворники отделились от мирской суеты. Богоискатели должны восходить к монастырю так же, как монашеская братия восходит через пост и молитву к божественной сути. Глубокое ущелье защищает монастырь от любопытствующих, а тяжелый подъем – и от немногочисленных обитателей окрестных сел. Здесь нет голодных, нищих и слепых, лишь молитвенная тишина, которой касается небесный свод, целуя купола и вбирая голоса монахинь. Боже, в Мртвице всё – небо, хотя в ней всё небольшое – и церковь, и надворные постройки, но всё так высоко – и голоса, и гул колоколов.

У матери Марии я многому учусь, порой чувствую себя потерявшимся ребенком, заблудшей овцой. Она всегда спокойна, излучает душевный мир. И вы и я задаемся вопросом, хоть и скрываем это друг от друга: как эти добрые, благородные, иногда совсем молоденькие монахини сумели вытеснить из себя жизнь, которая их так измучила? Они бы не оказались здесь, в монастыре, если б были счастливы в миру. В них отзывается боль вашей музыки – особенно когда в композициях доминируют орган и арфа, иной раз флейта и чембало, – боль уносит их ко Христу, туда, где земные невзгоды теряют значение и силу. Тут-то и кроется наше заблуждение, ибо их счастье не совпадает с земным. Монахи ходят по земле, но головой касаются неба. Их счастье в том, чтобы давать, а не принимать.

Какие метаморфозы претерпевает душа, когда тело очищается молитвой и постом? Когда человек уже без всяких сомнений знает: вот последнее решение – отныне я принадлежу только Христу.

Они всегда слушают, когда вы ставите кантаты Баха или «Волшебную американскую кантату» аргентинского додекафониста Альберто Гинастеры. Эта вещь написана под сильным влиянием традиционной южноамериканской музыки, с дивным сольным пением в псевдоиндейской манере. Не знаю, что они открыли в этом пении, может, кто-то из них из тех дальних краев? Тут многие родом из других стран, они перешли в православие, хотя верующими были всегда.

Они любят кантаты, сами восхитительно поют и знают толк в церковных хорах. Слушают и ваше баритональное пение. Вы изучаете сербское богослужение и поете в одиночестве. Возможно, я ошибаюсь, но они вашу преданность музыке воспринимают как подвиг монаха вне монастыря.

Я спрашиваю себя, где вы познакомились с музыкой наших православных церквей? Что побудило вас изучать ее и в чем причина, что она вас так тронула и воодушевила, как чарует звездное небо, сколько б мы на него ни смотрели?

У меня накопилось к вам столько вопросов. Ваша таинственность смущает меня, пугает и, пожалуй, возбуждает. Любопытство к жизни других, даже вымысел, когда пишешь роман, ведет к тому, что вживаешься и начинаешь испытывать удовольствие; литература учит нас, что это не от красоты стиля и не оттого, что мы отождествляемся с судьбами и характерами. Мы все немного пипингтомы, почти прирожденные вуайеры – находим удовольствие в том, чтобы подглядывать за другими, хотя редко делаем это ради чувственного наслаждения. Многие так и проживают жизнь, обедненные чужими биографиями.

Однажды, может быть, и вы мне исповедуетесь, откроете хоть часть себя. Не подобает, чтоб только я повествовала о своем жизненном опыте, раскрывалась, изобличая ложь, обманы, тайны, сбрасывая клоунские костюмы, в которые нас наряжает общество и которые мы выбираем, чтоб спрятаться, и становимся хамелеонами, выдавая себя за то, чем не

являемся. Я уже много месяцев стою перед вами, израненная обнаженными мыслями, но и освобожденная от навязанного бремени. Я счастлива, оттого что чувствую себя, как сад весной: он еще не расцвел, но знает, что несет в себе жизнь и красоту. Вы молчите, и я не знаю, чего вы ждете, как распорядитесь рассказом о судьбе, которая вам не принадлежит; но, будучи слушателем, вы отчасти становитесь и соучастником.

Свет, что никогда не гаснет

Я спрашиваю себя: зачем я здесь, на земле, чего Бог от меня ожидает? Трудно определить мою роль. Она изменялась с годами. Девочкой-подростком я помогала старикам, оставленным в богадельнях. Читала им стихи, заводила музыку их молодости, которая у них и при ослабленной памяти вызывала улыбку. Я ухаживала за ними, купала их, отмывала от запахов, характерных для этих заведений. Расчесывала и мыла их седые волосы, делала им прически по фотографиям времен их молодости.

Боже, сколько счастья было в этих старых глазах, утративших и цвет, и блеск. В праздник мы пели рождественские песни, и я видела, как в них пробуждается память. Некоторые не знали, что настало Рождество Христово, что уже несколько дней идет снег, добраться было трудно, и никто их не навестил. Я удивлялась, почему они целовали мне руки и звали меня «дитя мое». Не понимала, сколько все это значило для них, состарившихся и забытых. Однажды в доме престарелых появилась новая старушка. Она все время пела, а врачи и сестры, не знавшие церковной музыки, то и дело отвлекались от работы, чтоб ее послушать.

Я не могла пройти мимо нищего и не подать монетку из

своих карманных денег. В праздники мы вместе с родителями раздавали еду, на Рождество и на Пасху паковали корзины для детей бедняков, и я никогда не была так счастлива и довольна.

Юность – время, когда начинаешь глубже размышлять об идеалах, о том, что надо отдавать, помогать, об альтруизме без корысти славы и похвал. Наши сердца полны благодарности Богу за то, что он дал нам жизнь и мы можем делиться ею с другими. Вот достоинство христианской души – ее не просят быть такой, она такова по сути. В этом ее величие и чистота.

Это было время невинности. Каждый день я спрашивала себя: что хорошего я сегодня сделала? И не ждала награды. Что происходит потом с этим идеальным ликом ранней юности нашей души? Когда возникают деформации, неодолимые искушения, себялюбие, желание успеха и славы, стяжательство, нарциссизм? Они не обогащают нас достоинствами характера и веры в себя, а ведут в пропасть, опасную для самого существования души, и по мере того, как слабеет душа, оскудевает и представление о том, кто мы, – искажается, постепенно ржавеет от неведения о произошедшей перемене. Превратно оценивая то, что видим, мы понемногу слепнем, не понимая, кем мы стали. Позднее, став детским врачом, я находила удовлетворение в том, чтобы помогать и лечить, но только в Эфиопии увидела, что же мне действительно нужно. Медицина для меня скорее профессия, чем призвание от

Бога. Творчество меня привлекает сильнее, я чувствую, что все больше ему принадлежу, – лучше узнаю себя и познаю волю Всевышнего Творца. Поэтому я подчинила врачебные занятия иконописи.

Прежде чем начать работу над иконой, фреской или мозаикой, я долго пощусь, долго молюсь, каждый день зажигаю свечи, пока не приходит необъяснимый внутренний импульс – видение будущего образа. Так родник пробивается на свет и хочет стать рекой, чтоб быть еще неукротимей.

Духовный образ рождается из света, что никогда не гаснет и погаснуть не может. Этот божественный свет будит, благословляет и придает смысл творению. Знать технику недостаточно, чтобы создать нечто великое, глубоко воздействующее.

Размышляя о работе над фресками, иконами и мозаиками, я лишь отчасти нахожу ответы прежде, чем приступаю к работе. Самый трудный период – поиск, он оставляет душу в растерянности. В чем смысл бытия? Ни в чтении, ни в созерцании я не обрела ответов, которые бы меня устроили. Никто так и не смог раскрыть мне вечные людские тайны, кроме нескольких композиторов. Музыка объясняет не словами, а реакцией, переживанием слушателя – подобно вере, с которой я живу повседневно. Ответов на вопросы о бытии, осужденном на болезни и смерть, я по-прежнему ищу в природе, ибо она есть зримая часть Творца, под звездным небом, которое более побуждает задавать вопросы, чем дает ответы.

Молитвы насыщают нас гармонией, когда мы жаждем теплоты, близости Бога. Для меня здесь, в этот миг, нет сомнений, что все ничтожно, преходяще и ничего не значит, если не связано с его творением. Ибо что бы ни создал Вездесущий, ничто не истлевает, но лишь меняет форму и энергию, и от творения исходит свет, отвечая нам на вопрос, кто мы, куда идем и как творить добро, чтоб заслужить всю эту окружающую нас земную красоту.

Вы смущены тем, как я рассуждаю. Моя серьезность, трудолюбие, вера и отрешенность от мира чужды вам, вызывая у вас сомнения. А вдруг я совершила некое злодеяние и теперь скрываюсь от людей и от себя, а вам исповедуюсь, как всякий грешник, который ожидает, что будет наказан и на земле, другим человеком.

Иногда в ваших проницательных, почти святых глазах я вижу электронный микроскоп: он записывает, снимает специальной камерой, анализирует все детали, даже те, что мне не заметны. Глаз – это сложный орган, состоящий из разветвленных чувствительных нейронов и клеток, часто он подвержен обману зрения и необычным восприятиям. Центр в зрительном отделе мозга должен преобразовать все, что в него поступает: получив перевернутую картину, он возвращает ей реальный облик – то, что мы видим.

Так и я годами пытаюсь увидеть объективную картину самой себя. Для этого надо полностью от себя отделиться, проникнуть в глубины психики, которая вовсе не склонна рас-

крываться, дойти до истинных причин реакций и устранить искажение. Желая открыть, кто я, что чувствую и почему веду себя по законам, которые сама пишу и воздвигаю на жизненном пути, я сознательно погрузилась в самонаблюдение. Как я реагирую на обстоятельства, которые сопутствуют моим отношениям с другими? Как мне совладать с этими обстоятельствами и их осмыслить? Бывает, наши внутренние законы очень строги, и суждение о том, как мы себя ведем, исходит не от других, а от нас самих.

Психика несет в себе сложные скрытые потоки из прошлого предков и наши попытки найти ответы. Она уносит нас в лабиринт, она подобна ребусу, и этот ребус пока еще никто не сумел разгадать, разве только святые, которые обладают чудотворной силой и – через Бога – понимают язык нашей души.

Я все больше склоняюсь к тому, что судьба определяет наш жизненный путь, независимо от того, даем ли мы себе труд данную нам свободу не повернуть против себя, понять самих себя и выйти на золотую тропу меры. Существует ли вообще эта мера, или счастье – уже сама жажда обрести ее?

А что, если вы – мое сверх-я, супер-эго? Оно ведь может быть очень сурово в критике нашей морали, поведения, мыслей, даже когда мы не грешим. Эта часть психики раскрывается нам во сне и карает, грозя смертью или утратой души. Быть может, вас не существует – ведь вы все время молчите, – или вы только плод моего воображения?

Ужасен сон, когда демоны обуревают нас. Они смеются от счастья, что мы душевно пали. Ужасен хохот, доносящийся из адского пламени, деформированные обличья внушают страх. Часто мы теряемся в темноте, покинутые, уstraшенные тем, что опасность так близка, и рядом нет никого, кто бы нам помог. А что сказать о снах, в которых мы мертвы, хотя ведем диалог с собой? Мы потеряны, мы бежим, мы виноваты, нам грозит кара, а мы не знаем, в чем повинны. Мы в панике от того, что не можем завершить важное дело. Нас кто-то зовет, умоляет о помощи, а мы бессильны, парализованы и во мгле, сквозь пыль не видим никого.

Я часто слышу вой гиен и вновь переживаю душевную боль, вспоминая, как они терзают кости с остатками мяса, объедки, брошенные им на второй день праздника в нищей Эфиопии. Гиены жаждали и человеческой крови. В огромной массе посетителей было полно пьяных – они приходили в ярость, когда полиция приказывала им покинуть место литургии. Я ощутила на щеках кошмарный жар – не открывались ли тогда врата ада и смерти? Может, поэтому я и езжу в сербские монастыри: здесь кошмар отступает перед высокими видениями. Или я здесь благодаря чарующей мелодии родного языка, который защищает меня от кошмара?

Вы ставите Сибелиуса, дорогой друг, его вторую симфонию. Почему вы ее выбрали? Что она будит в нас, мой неведомый спутник?

Двойник, молчащий у реки

Быть может, и вы – человек из снов, привидение, гость, который меня сопровождает, или двойник, изменивший пол? Но зачем и куда вас все это ведет?

Какой вам прок в этих ежедневных разговорах? Вы всегда здесь: когда ненастье, и грозы, и зимние вьюги, и весна с ее буйно расцветающей красотой, и лето с полями золотой пшеницы, и осень со сбором урожая. Мы видимся вот уже четвертый сезон. А вы всегда под ту же музыку смотрите на мои картины, все так же внимательно и терпеливо слушаете мои исповеди. Мне кажется, с тех пор, как мы видимся почти каждый день, вы стали больше сочинять, а я больше пишу и рисую. В чем-то мы дополняем друг друга, заполняем в себе пустоту и вместе лечимся.

Когда вы далеко, во мне рождается ожидание. Ваши темно-синие глаза, ваши волосы, руки, улыбка... есть в вас что-то знакомое, близкое, доброжелательное и чистое. Вы пробуждаете во мне воспоминания о человеке, которого я безмерно любила, и это позволяет мне приблизиться к вам, исповедаться перед вами, я чувствую почти непреодолимое желание рассказывать вам обо всем.

Если б я верила в возвращение душ, которые мы потеря-

ли, быть может, я нашла бы сходство ваших и Николиных темно-синих глаз. В них будто вечная полночь, они словно мерцают в лунном свете.

Мне никогда не узнать, откуда приходит то теплое, сладостное ощущение, что я переживаю во время наших бесед. Возможно, из глубины воспоминаний. Возможно, это последняя попытка побороть тяготы одиночества и ночной холод, когда рука, ласкающая подушку, ощущает пустоту. Мне не дает покоя вопрос: почему я утратила желание встречаться с людьми извне монастыря? Может быть, только они умирают и их смерть отдается в нас болью, а здесь я уверена, что со мной этого не произойдет? Здесь смерть умерла или – преобразилась.

Извините, что я плачу.

Прошло пятнадцать лет с моей последней встречи с Николой. Боль этой потери, первая встреча со смертью была невыносима, даже сегодня вполне не осознана и не принята. Надежда, что он вернется, позовет меня по имени, которое он произносил с такой теплотой, никогда не исчезала, как не исчезало желание, чтоб все это оказалось только дурным сном или шуткой судьбы.

Дружба с раннего детства и потеря друга в отрочестве – источник вечной тоски, нестираемой временем, драгоценной и мучительной. Дружба, свободная от страсти и усиленная идеализмом, оборвалась утратой моего первого, лучше-

го, единственного друга – Николе. И тогда время остановилось, замерло, как раскаленный шар в полдень. Оно и теперь неподвижно и мешает мне заводить новых друзей.

Я защищена, я окружила себя непреступной красотой воспоминаний о днях, проведенных в общении с ним. Я не хочу разлучаться с этой красотой, хотя она сама поселилась в моем сознании и запрещает доступ другим. Тот сгусток эмоций до сих пор питает все мои воспоминания. Я помню слова добродушного юного оптимиста Николе, его волнистые волосы, лицо – мягкое, нежное, еще мечтательное от иллюзий и идеалов, помню нашу юность, еще не знавшую коварной силы смерти, пока его не поглотил речной водоворот. Его внезапный уход принадлежит только мне, годами он был скрыт от мира.

Где-то вдаль я слышу шум, говор воды, ее пленительный шепот. И плачу оттого, что слышу его. В том клубке чувств, который не хотел размотаться, был наш внутренний дневник, он принадлежал только нам. Этим сокровищем я не хотела делиться ни с кем. Считала, что, если кому-нибудь расскажу о нас, это будет изменой дружбе, обманом. Боялась, что, если поделюсь событиями, попытаюсь раскрыть красоту отношений, будет украдена и уничтожена память. Смерть похитила его, но не смогла убить воспоминание о невинной дружбе. Этого я не позволю. Буду бороться за то, чтоб оно осталось. Эмоциональное озарение стало убежищем, подземным коридором к запертой двери, ключ от нее был толь-

ко у меня. Я навещала его, когда мне было одиноко, грустно и страшно. Никола был моей детской любовью и первой отроческой дружбой (через океан), а кончилось все трагедией. Он не оставил меня по человеческой слабости, никогда не покидал. Смерть, с которой я, неподготовленная, столкнулась впервые, разлучила только наши тела. Разрушила все мосты в будущее и рано пробудила страх, что все, что я люблю, может внезапно погибнуть.

До того как это произошло, я не думала о похоронах, могилах, памятниках. Смерть была для меня понятием отвлеченным, хотя и тогда вызывала слезы. Но с нами было по-другому. Все случилось внезапно, без всяких предвестий. Наши семьи были близки, мы вместе путешествовали по миру, они посещали нас в Америке, мы их – в Сербии. Не было ни признаний в любви, ни поцелуев. Помню, как однажды он нежно коснулся моей руки и покраснел. Я удивилась – почему? Я обняла бы его и поцеловала, если б знала, что он этого хочет или что он умрет. Думаю, что я хотела этого, но не спешила. Жизнь была впереди.

В молодости жизнь кажется долгой, почти вечной. Все верили, что когда-нибудь мы поженимся. Мы оба слышали об этом – родители с воодушевлением говорили о нашей дружбе. А мы не обращали внимания.

В любом возрасте тяжело потерять настоящего друга, особенно трудно, когда тебе четырнадцать лет и друг этот – пер-

вый и единственный. Встреча с неожиданной, непредвиденной смертью молодого человека переворачивает взгляд на жизнь – прежде беспечный, счастливый, спокойный. В этом возрасте человек предельно раним. Пережитая тогда трагедия – утрата, расставание, смерть – оставляет глубокие шрамы.

Николину смерть никто не мог понять и принять. Он – тот, кто учил меня плавать, сам плававший как дельфин, – утонул в мелкой речушке. Как это могло случиться? – спрашивали все.

Я разделила потерю и тоску с его матерью, открыла ей наши разговоры, переписку, красоту нашей дружбы, дав ей свой дневник. О том, что я его вела, она узнала от моей мамы. Я не могла отказать, это было для нее утешением – может, благодаря этому она не покончила с собой. Теперь жалею, что не переписала, отдала насовсем, а не просто почитать. С утратой дневника я еще раз потеряла Николу. Как ангел, хоть и без крыльев, иногда, в каникулы, он прилетал навестить меня и пробуждал все лучшее во мне.

Его уход разрушил доселе беззаботную детскую жизнь – как землетрясение, паводок или муссон, разбил все мечты, поселил в моей юности печаль и пустоту.

Смерть оставила во мне одиночество, которое я, сознательно или неосознанно, не хотела заполнять новой дружбой. И пока взрослые вопрошали, почему Всевышний все это допустил, я реагировала иначе – молитвами избавлялась от тоски и страха. Судьба, как природа, подвержена переме-

нам – на всё есть свои причины. Я посвятила себя живописи и литературе.

Его отец накануне деловой поездки, куда он взял Николу, увидел во сне неизвестную церковь. Он рассказал этот сон, который видел несколько раз, случайному попутчику в поезде. Тот внимательно выслушал и сказал, вздрогнув:

– Это монастырь святой Параскевы Пятницы, у меня есть снимок. Вот, посмотрите. Он по дороге в Крушевац, куда вы направляетесь, заверните туда.

Картина, увиденная во сне, и фотография были идентичны.

Отец Николы успешно завершил дела в Крушеваце, и они с сыном отправились в монастырь. Был жаркий летний день. Два месяца как не было дождей, земля потрескалась от засухи. Отец и сын решили освежиться в реке. Покрытое камнями русло было почти безводным. Сделав несколько шагов по дну, Никола, отличный пловец, ушел под воду и исчез – без звука и следа.

Он не вышел живым из той пересохшей реки, не увидел монастыря. Водоворот ныряющего потока втянул его под землю. Люди, живущие близ монастыря, говорили, что это знак Божий: кто-то из родителей согрешил.

Похороны помню смутно. Не знаю, был ли он похоронен при монастыре или мы приехали туда только на панихиду. Монастырь остался у меня в памяти мрачным местом – слов-

но не было там ни икон, ни фресок, только большие лампы и восковые поминальные свечи в песке.

Почему он не пошел сначала помолиться в монастыре, носящем имя моей крестной славы, а послушался других и решил охладиться в реке?

Я смотрела на реку, которая его поглотила. Она была все такой же мелкой, по ней можно было ходить. Босая, я побежала туда, где, как думали, он утонул, и положила на камень крест и базилик. Изабелла... – слышала я свое имя и, волнуясь, звала Николу. А кричали мои родители – испугались, что и меня поглотит водоворот. Может, я этого и хотела, потому что знала: без него я останусь потерянной и не найду покоя.

Помню, как я читала свое стихотворение об этой утрате. Почему смерть выбрала его, здорового парня, хорошего пловца, хотя в реке были и другие люди? Часто звучит предупреждение об опасности, но тут его не было или Никола к нему не прислушался. Мы не знаем, когда рок смерти настигнет нас, подстержет, выбрав очередную жертву. Отсюда странные вспышки страха, даже днем, попытки предугадать, где прячется смерть, как и когда нас настигнет. Ночью я просыпалась от страха и, вся в поту, искала маму. Я слышала голос Николы, протягивала ему руки, а он не мог за них схватиться. Он звал меня по имени. И голос был все тише. Не знаю, где я была тогда во сне: во Флориде, в Каролине, в Африке...

Тогда я впервые ощутила, что мы – крошечные, слабые, легко уязвимые – не готовы принять смерть и не способны ей противостоять. Остался образ темной, долгой ночи, которая не кончается рассветом. Я слышала страдальческие стоны, а слез у меня не было – только дрожали голос и тело, и всё было неясно, размыто, почти нереально. Так я представляла себе смерть. Медитация, особенно в отрочестве, после смерти любимых, ничему не учит нас, не готовит к тому, чтоб мы приняли чей-то уход, не помогает подготовиться к собственной смерти. Не облегчает ни потери, ни ухода.

Не помню, когда мы вернулись в Америку.

Семьи наши были очень близки. Мой отец учился в Америке, а отец Николы – гениальный изобретатель и лучший студент-химик Белградского университета – получил американскую стипендию. Они говорили на одном языке, у них была одна вера, одни интересы. Позднее отец Николы, сначала в Югославии, а потом и за границей, наладил производство медного купороса. Кроме того, он владел виноградниками в Европе и на родине. Родители Николы были экспортерами изысканных вин и любителями искусств.

Мать не разрешила Николе ходить в школу, боясь, что он заболеет. Позднее я поняла, что у нее были проблемы с мужем. Она решала их, удерживая сына подле себя, как будто знала: пока сын здесь, до развода дело не дойдет. Ему было позволено дружить только со мной. Он никогда не спорил, в домашних воспитателях обрел интересных учителей и на-

ставников и, думаю, был счастлив.

Николе было пятнадцать лет, когда он утонул. Он много путешествовал, был образован, ласков в общении со всеми. Знакомил меня с европейской литературой и музыкой. Был моим советчиком во всем. Я слушала друга и удивлялась его познаниям. В разлуке нас сближала переписка. В каждом его письме была картинка – какое-нибудь воспоминание о наших путешествиях, а возле подписи всегда белая маргаритка. Мне казалось, я совсем дуреха в сравнении с ним. Семьи планировали совместные путешествия по свету. Никола хорошо знал, что именно нам надо посмотреть.

Не сердитесь, я хочу побыть одна. Нет, я не буду плакать, он не хотел бы этого. Без него рухнуло все, я постоянно думаю о нем, все начинаю с его имени, особенно здесь, вблизи монастыря.

И смерть умирает

Вспоминаю наше последнее путешествие в Маун, центр сафари, незадолго до этой трагедии. Мы посетили Африку зимой, в мои школьные каникулы, в сезон дождей. Реки здесь только тогда полноводны, в другое время – невыносимая сушь и тропическая жара. Маун находится в верхней части дельты Окаванго, где мы, туристы, развлекались сафари.

Никогда не забуду, какая там была заря, каким светом занимался день. Солнце – огромный огненный мяч – появлялось на горизонте и, меняя цвет, постепенно уменьшалось. Мы любовались самой большой дельтой на свете. Всласть катались на длинных лодках, называемых мокорои, разглядывали растения, гиппопотамов, антилоп и бизонов. Животные не вызывали у меня страха. Вода была чистая. Заросли папируса создавали специфический колорит: все было словно заштриховано золотом. Мы наслаждались тишиной и красотой дикой природы. Когда мы добрались до края дельты, где водятся крокодилы, Никола держал меня за руку и ободрял: – Я спасу тебя, ты же знаешь, я отличный пловец и никогда не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.

Мне нравились эти слова. Я верила, что он от всего может меня защитить. Нас обоих удивило, что огромная дельта

не впадает в океан. Мы смотрели в небо: там, прямо над нами, кружили орлы и со скоростью, неуловимой для камеры, обрушивались вниз, чтоб ловко выхватить рыбу из воды. Я дрожала и ежилась перед этой картиной.

– Смотри, Никола, природа и здесь подтверждает: позволено убивать, чтобы пропитаться и продолжить род. Один вид животных нападает на другой, совсем как мы, люди. Только мы убиваем и животных, и друг друга, – сказала я ему. – Я вижу здесь и красоту, и смерть.

– Зачем ты столько думаешь о смерти? – удивился он.

На миг мы умолкли. Мы смотрели, как эта красивая, богатейшая дельта, которая восхищает и туристов, и местных жителей, исчезает, задыхаясь в песке, словно ее никогда не бывало. Это потрясло нас обоих.

– Все умирает, даже смерть умирает, перестает существовать, – сказал Никола. – Я не боюсь, ведь мы и так преходящи. Ты пишешь об этом в своих стихах. Говоришь, что лучший цветок иногда умирает и вянет рано. Что здоровые деревья рубят, чтобы строить дома, что войны это грехи вождей, порой даже целых религий. Но ты никогда не говорила о смерти человека. Ты веришь, что душа живет и Бог решает, когда мы должны ее возвратить, ибо она, поистине, дана человеку взаймы. И эта земля, на которую мы смотрим, живет и умирает, преображается. Говорят, она создана термитами – они строят дома из прочного цемента; эта неровная поверхность, эти холмики – кладбища термитов. Я чи-

тал, многие верят, что в этой земле есть алмазы. Смертью термитов создана такая красота, и здесь же для кого-то – возможность разбогатеть. Подумай, что сотворят геологические изыскания с этой удивительной дельтой, и радуйся, что видела ее еще нетронутой.

Смерть друга привела меня в смятение, я стала всего бояться. «Все, кого я люблю, умрут», – писала я в дневнике. Я ощущала себя бессильной перед этим напором, который лишает дыхания, гасит все электрические импульсы в умиравшем мозгу. Когда снимают электроэнцефалограмму, линия на бумаге регистрирует состояние мозга: прямая линия указывает, что человек мертв.

Я видела его темно-синие глаза в каждом цветке, в звездах, в глазах ангелов и святых. Это была какая-то форма бреда, транса, усиливавшего мою тягу к иконописи, фрескам и мозаикам.

Почти на каждой моей иконе или фреске есть ангел с его лицом и глазами. Если б вы знали Николу, вы бы узнали его и в нынешних моих работах. Время не измеряется календарями и тиканьем часов. Как личность я стала частью того времени, паломницей в прошлое.

Возможно, благодаря вашим замечаниям, размышлениям, музыке, я сумею себя понять. Почему, когда я уходила все глубже в себя, вера во мне росла, отражаясь не только в молитвах, но и в художественной работе? Словно все мои чувства, кроме зрения, умерли вместе с Николой. Я даже ме-

сяцами не слушала музыку, хотя она всегда была для меня приятной компанией. Или я стала неисправимой чудачкой?

Родители думали, что моя религиозная страсть – нечто вроде творческого безумия и результат депрессии... Должно быть, я хотела объявить войну этой роковой смерти, утешиться сознанием, что она не сильнее, чем Бог и душа. Смерть не может отнять душу. Она отнимает только тело, которое принадлежит ей, потому что оно земное, как сама смерть. Так, значит, и смерть умирает?!

9

Композитор

Слышите: звякают колокольчики овец в стадах, в долине играет губная гармошка. Обычно слышна свирель. Наверно, это какой-то другой пастух. Смотрите: вон группа детишек – щебечут, как стайка птиц. А как скачут, пытаются перепрыгнуть через лужицы, оставленные порывистым дождем. Дождь хлынул с неба как водопад. О чем они думают, когда видят на горизонте радугу? Они так любят ее рисовать. Потом радуга исчезает с рисунков: волшебные краски созданы преломлением света – слишком разумное объяснение. Чистая невинность детства, верящего в сказки, по мере взросления исчезает. Ускользает мечта и природная любознательность. Мы возвращаемся к ним, когда устаем от жизни, но неискренне и безуспешно. Мы старимся оттого, что перестаем мечтать, оттого, что, потеряв часть детских картинок, потеряли и естественность взгляда на мир. Хорошо старикам, не утратившим искренности: им принадлежит царство небесное.

Я думала о вас и слушала, что говорят другие, когда ходила в библиотеку.

Здесьшний народ не воспринимает вас как зрелое существо – вы возитесь со своей музыкой вместо того, чтоб занимать-

ся конкретной работой. Некоторые думают, что вы отстали в развитии, хотя все говорят о музыке, которая доносится из вашего дома. Спрашивают, почему она такая серьезная и печальная, хотя окрестные села так смиренны, спокойны, красивы, а монастырь так близко? По пути в монастырь они проходят мимо моего дома и иногда останавливаются послушать. Для них смысл музыки – наслаждение, а не размышление, поэтому они вас избегают. Чудак, говорят они, но уважают ваши познания пчеловода.

Музыка – ваша любовь – восполняет рассказы о судьбах, как мои изобразительные работы, пронизанные верой, но об этом я им ничего не сказала. Может быть, в искусстве есть чуждая им печаль; непонятный звук вызывает страх, как все, что мало знакомо. Они привыкли к песнопениям и звону колоколов, к веселой свадебной народной музыке. Мы, должно быть, кажемся им странными людьми, подверженными душевным расстройством.

Из-за вашего аристократизма в поведении и одежде (как будто вы всегда готовы пойти на концерт или в оперу), из-за стиля жизни местное население еще больше вас замечает. Вы отличаетесь от всех нас, как заплутавшая птица отличается от остальных. Здесь, вдали от цивилизации, в вас видят чужака, который блуждает в поисках неведомо чего. Может быть, музыка магически влечет вас через эти леса к таинственному приюту, которого нам никогда не открыть? Вы не подходите к этим местам своим внешним видом, но благо-

даря музыке вы – часть здешнего пейзажа. Думаю, монахи-ни правы: этот мирный фон – колокольца овечьих стад, звон церковных колоколов, тишайшее пение – упорядочивает все те тона, что вас преследуют. Еще они говорят, что ваша душа в смятении и потому ваша музыка печальна. Я поверила им и подумала: хорошо, что вы не сочиняете опер, ведь, вероятней всего, жизнь и роль вашей дивы была бы трагична, как у всех героинь в операх старых итальянских, французских и немецких композиторов.

Только Пуччини своей музыкой сумел в тяжелейший эпизод внести теплую, чувственную и романтическую поэзию – вопреки либретто, трагизму сцены, когда Tosca убивает Scarpio. Даже в известной арии нет ничего трагического. Зная, что ее возлюбленного мучают в соседней комнате, Tosca решает спасти его, удовлетворив желание Scarpio. Похоже, что итальянские композиторы превыше всего ценят красоту звуков, и потому ни оркестр, ни ария Toski не передают ее действительных чувств. Сценическое действие и музыка тут разминулись, потому что красота выше патологии. А вот Вагнер сопровождает трагические сцены столь же трагической, мрачной музыкой.

Каким было бы ваше либретто? Может быть, ваша героиня не умрет? Может быть, ее судьба не будет похожа на судьбу Мими? Ваш герой не будет нищ и голоден – как Родольфо в «Богеме» (он обогревает свою комнату, как Пуччини, когда был бедным студентом, сжигая свои рукописи).

Когда я слушаю «Богему», как только поднимается занавес, я вспоминаю жизнь Джакомо Пуччини, бедного, изголодавшегося студента Миланской консерватории, замерзающего в мансарде, того Пуччини, на которого так похож Родольфо в опере. Именно эта фаза бедности, говорил он, больше всего связала его с Богом и породила незабываемую музыку.

Вы молчите, не раскрываете мне содержания своих опер, а может, вообще над операми не работаете, но я слышу их в становлении, по крайней мере такое у меня предчувствие, судя по некоторым ариям, доносящимся из вашего дома. В этих операх будут вероломные соблазны, трагедии человека в век лагерей, призыв, обращенный к небу, моление о помощи и прощении.

Иногда я подкрадываюсь и, незамеченная, заглядываю в ваше окно, выходящее в сад, на восток, где течет сельский ручей – дети перепрыгивают через него, чтобы скорей дойти до школы. Вы часто меняете маршруты своих долгих утренних прогулок и, возвращаясь с полевыми цветами, без слов оставляете их у моего порога.

Охотней всего вы собираете белые маргаритки, их белизна, с темной чашечкой, дороже вам, чем другие краски этого цветка. Поля здесь покрыты цветочной белизной, подобной чистым, невинным душам монахинь.

Почему вы так любите белый цвет? В нем столько оттенков, невидимых глазу. Белый никогда не бывает одинаков, эту иллюзию создают наши чувства. Вы всегда оставляете и

свежий базилик — он растет в изобилии в вашем саду. Откуда вам известно, что именно в нем я ощущаю аромат Николиной души?

Цветы вянут, но иногда засушенный цветок живет в воспоминании того, кто его сорвал, или того, кто был счастлив, когда его получил. Мой гербарий полон. Он вроде дневника, только цветок и я изменяем его взглядом и прикосновением. В нем есть и белая маргаритка из Эфиопии, которую Никола сорвал для меня во время нашего последнего путешествия. Это был первый букет, который я получила.

Недавно меня спросили, что я буду делать, где буду жить, когда завершу работу для монастыря. Я искренне не знала, что ответить. Отъезд в Америку меня пугает, и я откладываю решение. Чего я боюсь на этом старом новом пути, спросите вы. Может быть, одиночества, неизвестности, возвращения к медицине, которая отнимает время, тогда как душа жаждет творить. Может быть, я боюсь искушений, вызывающих телесные и душевные расстройства, или понимания того, что пора собраться с силами и начать искать Андреяну, а это будет нелегко. Но вы еще не знаете, кто она и почему я ее ищу.

Ждете ли вы моей встречи с Андреяной, считая, что это положит конец разговорам-исповедям и пойдет новая жизнь, в которой «слушатель» уже не будет мне нужен? Вы уверены, что только тогда я достигну полной свободы — душа начнет ветвиться, не отягощенная прошлым, в котором она столькому научилась? Или ваше желание, точно соответствующее

вашим свойствам, – исчезнуть?

Вы откроете мне, кто вы. Реальность вы или существуете только в фантазии и музыке? А пока продолжим дознание – будьте здесь. Я не способна понять себя, тем более вас, и потому вы хотите «быть только слушателем». Вот и все, что вы когда-либо сказали! Вы не спросили моего имени, но думаю, вы его знаете и, может быть, полагаете, что оно не настоящее. Я тоже не знаю вашего настоящего имени. Я зову вас Спутником, хотя знаю, что им-то вы как раз и не можете быть. Неужели и сокрытие имени – защита от прошлого, от которого мы бежим, или от настоящего, которого мы боимся? Вы молчите, молчите... я не хочу никакого ответа!

Вы кажетесь приветливой, когда занимаетесь пчеловодством. Тогда я убеждена, что вы действительно существуете. Кажется, опять я сказала что-то, что вызвало ваше недоверие. Видно по вашему лицу. Но я сказала правду.

Об увлекательном мире пчел я довольно много знаю от своего дяди. Они реагируют на жару и сушь. Если рамки, чтоб отцедить подсолнечный мед, вынуть в августе, можно вызвать у них эмоциональную реакцию, как у нас, людей. Растения перестают выделять нектар в конце лета, особенно если лето засушливое. Пчелы становятся нервными и агрессивными. Их мучает жажда, но вода не может ее утолить. Им не хватает нектара, которого они жаждут, ради которого могут и убить. Чтобы их успокоить и предотвратить массовое убийство, надо приоткрыть один из ульев. Их при-

влечет запах меда, и они, громко жужжа, облепят улей черной тучей, пытаясь прорваться сквозь щели и добраться до меда. Начнется сражение. Грабеж увеличит число убийств, в этой схватке будет много жертв. Обычно пчелиная война происходит днем. Многие умирают на войне, как люди. Когда темнеет, если они не успокоятся, вы поливаете их водой. Многие гибнут и при вашем способе умиротворения. Но если вы опоздаете, начнутся нападения на другие ульи, и весь пчельник превратится в погост. Я слышала, как вы сказали: счастье, когда в войне участвует только один улей.

Войны людей немногим отличаются от пчелиных. Вся человеческая история – грабеж и защита от захватчиков. Вы остро осознаете это, но не допускаете, чтоб вами овладел хаос, не позволяете себе пасть духом. Я видела, как вы молились, здесь, возле других ульев, на которые никто не нападал. Я заметила, два раза в год вы переселяете пчелиные семьи, не трогаете лишь несколько ульев. Это происходит весной, в пору цветения акации, и позднее, когда цветут подсолнухи. Вы это называете – «новый взяток»: каждый улей дает особый мед. В это время вы меня не навещаете целыми днями, и я меньше пишу. Я не слышу музыки из вашего дома, его окна темны, призрачны, неприветливы. Весной на вашем большом участке цветет белый клевер и одуванчики. Луговые цветы, яблоневый, сливовый, липовый цвет дают взятки, богатый пылью. Много и других весенних цветов, фруктовых и прочих деревьев. По-моему, самый вкусный и аромат-

ный – мед с полевых цветов и липы.

Вы заботитесь о пчелах так, словно это ваша семья. Иногда зимой подкармливаете ульи сахарномедовыми лепешками – вы делаете их, когда температура сильно падает, потому что матка начинает опять откладывать яйца, ей необходимо питание. Вы сказали игуменье, что весной хорошая матка похожа на розу. Значит, ее облик – знак красоты, здорового труда и радости в улье? Пчелы принимают облик розы – царицы цветов – только в здоровом улье. В некоторых ульях нет матки, и там заводятся ложные матки, в сущности – рабочие пчелы: они питаются маточным молочком, чтобы активизировать свои органы кладки яиц. Строят маточники над личинками трутней, поскольку у них нет гормона феромона, который есть только у маток. Значит ли это, что и у пчел есть классовые и гормональные различия, разные судьбы, обманы, неосуществленные желания – родить, изменить себя, ложно себя подать, – как у людей?

Вы лечите эту проблему, как врач, «шоковой терапией» – закладывая новый маточник на сотах с личинками пчел-работниц на ранней стадии. Мнимые матки встревожены: их игнорируют – это для них знак, что настоящая матка здесь. Это было бы почти грешным деянием, но через несколько дней вы подсаживаете молодую оплодотворенную матку, больной улей выздоравливает и дает отличный мед. Так оправданы ложь и обман. А были бы такие приемы и обман оправданы, если бы их применяли при кризисах ослаблен-

ных наций и семей? Вы избегаете моего взгляда, когда я обвиняю вас в манипуляции!

Глядя на вашу работу и читая о мире пчел, я впервые понимаю, что пчеловодство требует терпения, любви и знаний. Смотрю на вас и удивляюсь. Вы включаете им музыку, иногда и поете, когда собираете мед отдельно от каждого взятка. Они вас не жалят, любят вас, музыка их словно гипнотизирует. Ваш голос и нежное прикосновение ваших рук они принимают как влюбленная женщина; даже с нежностью касаются вашего лица и рук, часто ничем не прикрытых. Они знают вас лучше, чем я! Также они умеют выбрать лучший, ароматный цвет и его нектар усердно превращают в мед!

Есть что-то святое, чистое, богоугодное в меде, недаром им угощают гостей в знак приветствия, особенно в монастырях. Может быть, вы не согласитесь, но мне кажется, что жизнь пасеки похожа на человеческие отношения, поэтому я их сравниваю. Ведь и у пчел, если оплодотворение совершается между родственниками, происходит дегенерация, гибель всего улья. Вы пробудили во мне желание читать о пчелах. Я знаю, что не могла бы заниматься разведением пчел и добычей меда. Ведь и для этой профессии, называемой «апитехно-логия», недостаточно знаний, требуется Божий дар. Есть что-то благородное, возвышенное в разведении пчел и уходе за ними. Мне кажется, что пчеловоды, это относится и к вам, шепчут пчелам какие-то слова, которых мы, остальные, слышать не можем. Вы пестуете их, одаряя своим вни-

манием и музыкой. Может, и звук монастырских колоколов благословляет их полезный труд?

Вы впитываете все, что переживаете и видите, вы ходите с этой драгоценной ношей в одиночестве – лишь со своей музыкой. Вы своего рода отшельник, вам нужно уединение, ваше общество – пчелы и тишина. Мы похожи: и я люблю тишину, колокола и ветер. Я угощу вас вашим подсолнечным медом, который так люблю, не столько за вкус и цвет, сколько оттого, что люблю подсолнухи: эти цветы обращают свою корону к солнцу и небу.

Не думали ли вы когда-нибудь посвятить себя монашеской жизни? Эта мысль иногда ненадолго меня увлекает, но я знаю, что вы все еще носите в себе жажду земных страстей и у вас нет сил, а возможно, и желания от нее освободиться. Иногда мои помыслы грешны, полны злобы и зависти. Это слабость, знак того, что я еще недостаточно обращена к Богу, блуждаю во тьме, уводящей в бездну души, чтобы мучить, манить и терзать мне сердце. Я сознаю, что недостаточно научилась в монастыре тому, что есть истинные ценности. У меня все еще есть потребность в удобствах, я эгоистична, скромность монахинь и удаленность от жизни пугают меня так же, как счастье. Я не готова к счастью, не понимаю, в какой форме оно приходит. В детстве, кажется, у меня был более точный критерий ценности – давать, помогать, – чем потом, в браке, когда я ждала от жизни счастья, а от мужа – что он сделает меня счастливой, и жила в его тени. Не спраши-

вайте, сколько мне лет, и не говорите, сколько вам, не говорите, откуда вы и чего ищете здесь, среди сестер-монахинь, в монастыре, скрытом в лесу от шума цивилизации и людей. Какую тайну носите вы в своих проницательных глазах и душе, исповедуясь только колоколам и ветру?

Колокола и ветер

Не прячемся ли мы – как тени старых деревьев, которые счастливы, когда под ними пробежит олень или серна, – в ожидании, что нечто изменит ход нашей судьбы, войдет в нашу жизнь, принесет смирение, пробудит ощущение, что мы живы? Нас не страшит, что и мы уйдем, но пугает то, что мы можем принадлежать другому. Любовь – наше первое умирание, что иррационально, ведь, любя, мы передаем себя другому. Или это боязнь умереть в другом, тогда как подсознательно мы эгоистически храним свое умирание как собственность? Без этого смерть не страшит нас, хотя мы не существуем без другого. Не кажется ли вам, что верующие люди избегают всякой связи, тем самым охраняя свою веру в воскресение?

Любовь меня покидала чаще, чем я покидала ее. Вам уже известно это из моей исповеди. Вселившийся однажды страх повелевает бежать от мира, от себя, от близости человеческого бытия и тесного общения с людьми. Если б я верила, что вы действительно существуете, – я убежала бы и от вас.

Страх потерять все, что люблю, – причина того, что я здесь. Монастырь – не место разлуки, а место встречи. Здесь я чувствую, что уверена в этом, хотя не убеждена, что знаю,

почему это так.

Мне хочется понять, что имел в виду Достоевский, когда сказал, что красота спасет мир. Видел ли он красоту в природе, в любви, пусть трагической, в музыке, в литературе, в пении, в колокольных перезвонах русских церквей или в вечной жизни наших душ с Богом?

В поиске ли она или в обретенной радости, и зовется ли та красота, что спасет мир, любовью?

Думаю, я еще не способна и не готова принять ни душевную связь, ни жажду открытия и встречи. Я не говорю об экстатическом слиянии двух тел, о прикосновении к коже, которое вызывает в теле, в этой брэнной плоти, дрожь. Я говорю о слиянии душ, которые не могут разлучиться. Поиск многих ответов побуждает размышлять об идеях и делах, которые обычно мы пытаемся вытеснить. Здесь, в тишине, здесь, где нет грязи, в воздухе, где разносится лишь звон колоколов и зов птиц, я растворила свое добровольное изгнание. Так будет, пока я не найду решение, которое не ранит ни меня, ни других.

Несколько раз я объясняла вам это, когда вы удивлялись и спрашивали, почему я, такая молодая, отступилась от жизни, заперев себя в отдаленном монастыре. Вы смотрели на меня так, словно я не от мира сего, словно я ожившее лицо с какой-нибудь картины Рембрандта, явившееся в наш век, и мне суждено в музыке – особенно Сибелиуса – понять себя, мир и вас. Слова не раскрывают человека, а выбор музыки,

которую мы слушаем, реакция наших тел и чувств, нашего сердца больше говорят о том, кто мы и чего жаждем, чем о том, какие мы. Возможно, именно поэтому вы избрали молчание, и на него может опереться исповедь моей души.

Если применить ваши критерии, я могу заключить, что вы человек верующий – быть может, больше, чем я, которая ходит в церковь. Значит ли это, что вашему творчеству нужны тишина и одиночество, бегство от всех, кто вас окружал, что вы стремитесь проникнуть в иные судьбы, когда так сосредоточенно рассматриваете мои работы? Мы тонем в музыке, она сближает нас, как в прамистерии, ибо все тайны, все пределы отступают, когда мы слушаем ее. Все прочее о вас, как о человеке, для меня туманно, словно тень лица.

Может быть, пока я не готова узнать о вас больше, хотя иногда хочу этого. Но вы, дорогой друг, мало знаете о любознательности, она не безгранична. Надежда на то, что вы хотите меня спровоцировать, чтоб я думала о вас, может превратиться в иллюзию. А что, если я вам не помогу и не открою вашей сути? Как вы соберете себя воедино, как одолеете свой внутренний разлад?

Мне страшно вас узнать. Я знаю, эти встречи и разговоры продлятся недолго и ни к чему не приведут. Боюсь, что молчание вас затопит, овладеет вами и страдание поселится в ваших нотах. Молчание не созидательно, оно обманчиво.

Вы во власти музыки и ее сочинения, все прочее подчинено совершенству ваших интересов. Может, поэтому я с вами

так искренна и открыта. Ведь вы не принадлежите мне.

Знаю, что вы духовно связаны с Сибелиусом, больше, чем с другими композиторами, вероятнее всего – из-за его образа жизни. У него было громкое имя, он был популярен в Германии, еще больше во Франции и в Америке, но охотней всего пребывал в своем имении под Хельсинки. Во мне Сибелиус пробудил стремление открыть, кто я, что я на самом деле чувствую, помог вспомнить то, что скрыто в недостижимой глубине подсознания, которое не открывает своих тайн до конца, но мощно воздействует на наше поведение, понимание фактов, истории и нашего взгляда на мир.

Реальность, о которой нам сообщает наше подсознание, приходит из непроницаемой тьмы и, может быть, поэтому всегда неопределенна, содержит много неясностей, пропусков, темных мест, иллюзий, неправд – оставляет нас встревоженными и неуверенными. Мы никогда не знаем, что есть истина, а что обман. Может быть, подсознание защищает нас, помогает привыкнуть к истине, уменьшая страх и вытесняя болезненную реальность того, что происходит, помогает не впасть в еще более глубокое отчаяние и душевную слабость, ведущую к хаосу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.